VI

Снова началось что-то кошмарное. Однажды вечером, когда, напившись чаю, мы с дедом сели за Псалтырь, а бабушка начала мыть посуду, в комнату ворвался дядя Яков, растрепанный, как всегда, похожий на изработанную метлу. Не здоровавшись, бросив картуз куда-то в угол, он скороговоркой начал, встряхиваясь, размахивая руками:

— Тятенька, Мишка буянит неестественно совсем! Обедал у меня, напился и начал безобразное безумие показывать: посуду перебил, изорвал в клочья готовый заказ — шерстяное платье, окна выбил, меня обидел, Григория. Сюда идет, грозится: отцу, кричит, бороду выдеру, убью! Вы смотрите...

Дед, упираясь руками в стол, медленно поднялся на ноги, лицо его сморщилось, сошлось к носу, стало жутко похоже на топор.

— Слышишь, мать? — взвизгнул он. — Каково, а? Убить отца идет, чу, сын родной! А пора! Пора, ребята...

Прошелся по комнате, расправляя плечи, подошел к двери, резко закинул тяжелый крюк в пробой и обратился к Якову:

— Это вы всё хотите Варварино приданое сцапать? Нате-ка!

Он сунул кукиш под нос дяде; тот обиженно отскочил:

— Тятенька, я-то при чем?

— Ты? Знаю я тебя!

Бабушка молчала, торопливо убирая чашки в шкап.

— Я же защитить вас приехал...

— Ну? — насмешливо воскликнул дед. — Это хорошо! Спасибо, сынок! Мать, дай-кось лисе этой чего-нибудь в руку — кочергу хошь, что ли, утюг! А ты, Яков Васильев, как вломится брат — бей его в мою голову!..

Дядя сунул руки в карманы и отошел в угол.

— Коли вы мне не верите...

— Верю? — крикнул дед, топнув ногой. — Нет, всякому зверю поверю, — собаке, ежу, — а тебе погожу! Знаю: ты его напоил, ты научил! Ну-ко, вот бей теперь! На выбор бей: его, меня...

Бабушка тихонько шепнула мне:

— Беги наверх, гляди в окошко, а когда дядя Михайло покажется на улице, соскочи сюда, скажи! Ступай, скорее...

И вот я, немножко испуганный грозящим нашествием буйного дяди, но гордый поручением, возложенным на меня, торчу в окне, осматривая улицу; широкая, она покрыта густым слоем пыли; сквозь пыль высовывается опухолями крупный булыжник. Налево она тянется далеко и, пересекая овраг, выходит на Острожную площадь, где крепко стоит на глинистой земле серое здание с четырьмя башнями по углам — старый острог; в нем есть что-то грустно красивое, внушительное. Направо, через три дома от нашего, широко развертывается Сенная площадь, замкнутая желтым корпусом арестантских рот и пожаркой каланчой свинцового цвета. Вокруг глазастой вышки каланчи вертится пожарный сторож, как собака на цепи. Вся площадь изрезана оврагами; в одном на дне его стоит

зеленоватая жижа, правее — тухлый Дюков пруд, куда, по рассказу бабушки, дядья зимою бросили в прорубь моего отца. Почти против окна — переулок, застроенный маленькими пестрыми домиками; он упирается в толстую, приземистую церковь Трех Святителей. Если смотреть прямо, — видишь крыши, точно лодки, опрокинутые вверх дном в зеленых волнах садов.

Стертые вьюгами долгих зим, омытые бесконечными дождями осени, слинявшие дома нашей улицы напудрены пылью; они жмутся друг к другу, как нищие на паперти, и тоже, вместе со мною, ждут кого-то, подозрительно вытаращив окна. Людей немного, двигаются они не спеша, подобно задумчивым тараканам на шестке печи. Душная теплота поднимается ко мне; густо слышны нелюбимые мною запахи пирогов с зеленым луком, с морковью; эти запахи всегда вызывают у меня уныние.

Скучно; скучно как-то особенно, почти невыносимо; грудь наливается жидким, теплым свинцом, он давит изнутри, распирает грудь, ребра; мне кажется, что я вздуваюсь, как пузырь, и мне тесно в маленькой комнатке, под гробообразным потолком.

Вот он, дядя Михаил; он выглядывает из переулка, из-за угла серого дома; нахлобучил картуз на уши, и они оттопырились, торчат. На нем рыжий пиджак и пыльные сапоги до колен, одна рука в кармане клетчатых брюк, другою он держится за бороду. Мне не видно его лица, но он стоит так, словно собрался перепрыгнуть через улицу и вцепиться в дедов дом черными мохнатыми руками. Нужно бежать вниз, сказать, что он пришел, но я не могу оторваться от окна и вижу, как дядя осторожно, точно боясь запачкать пылью серые свои сапоги, переходит улицу, слышу, как он отворяет дверь кабака, — дверь визжит, дребезжат стекла.

Я бегу вниз, стучусь в комнату деда.

— Кто это? — грубо спрашивает он, не открывая. — Ты? Ну? В кабак зашел? Ладно, ступай!

— Я боюсь там...

— Потерпишь!

Снова я торчу в окне. Темнеет; пыль на улице вспухла, стала глубже, чернее; в окнах домов масляно растекаются желтые пятна огней; в доме напротив музыка, множество струн поют грустно и хорошо. И в кабаке тоже поют; когда отворится дверь, на улицу вытекает усталый, надломленный голос; я знаю, что это голос кривого нищего Никитушки, бородатого старика с красным углем на месте правого глаза, а левый плотно закрыт. Хлопнет дверь и отрубит его песню, как топором.

Бабушка завидует нищему: слушая его песни, она говорит, вздыхая:

— Экой ведь благодатной, — какие стихи знает! Удача!

Иногда она зазывает его во двор; он сидит на крыльце, опираясь на палку, и поет, сказывает, а бабушка — рядом с ним, слушает, расспрашивает.

— Погоди-ка, да разве божия матерь и в Рязани была?

И нищий говорит басом, уверенно:

— Она везде была, по всем губерниям...

Невидимо течет по улице сонная усталость и жмет, давит сердце, глаза. Как хорошо, если б бабушка пришла! Или хотя бы дед. Что за человек был отец мой, почему дед и дядья не любили его, а бабушка, Григорий и нянька Евгенья говорят о нем так хорошо? А где мать моя?

Я всё чаще думаю о матери, ставя ее в центр всех сказок и былей, рассказанных бабушкой. То, что мать не хочет жить в своей семье, всё выше поднимает ее в моих мечтах; мне кажется, что она живет на постоялом дворе при большой дороге, у разбойников,

которые грабят проезжих богачей и делят награбленное с нищими. Может быть, она живет в лесу, в пещере, тоже, конечно, с добрыми разбойниками, стряпает на них и сторожит награбленное золото. А может, ходит по земле, считая ее сокровища, как ходила «князь-барыня» Енгалычева вместе с божией матерью, и богородица уговаривает мать мою, как уговаривала «князь-барыню»:

Не собрать тебе, раба жадная,
Со всея земли злата, серебра;
Не прикрыть тебе, душа алчная,
Всем добром земли наготу твою...
И мать отвечает ей словами «князь-барыни», разбойницы:
Ты прости, пресвятая богородица,
Пожалей мою душеньку грешную.
Не себя ради мир я грабила,
А ведь ради сына единого!..
И богородица, добрая, как бабушка, простит ее, скажет:
Эх ты, Марьюшка, кровь татарская,
Ой ты, зла-беда христианская!
А иди, пно, по своем пути —
И стезя твоя и слеза твоя!
Да не тронь хоть народа-то русского,
По лесам ходи да мордву зори,
По степям ходи, калмыка гони!..

Вспоминая эти сказки, я живу, как во сне; меня будит топот, возня, рев внизу, в сенях, на дворе; высунувшись в окно, я вижу, как дед, дядя Яков и работник кабатчика, смешной черемисин Мельян, выталкивают из калитки на улицу дядю Михаила; он упирается, его бьют по рукам, в спину, шею, пинают ногами, и наконец он стремглав летит в пыль улицы. Калитка захлопнулась, гремит щеколда и запор; через ворота перекинули измятый картуз; стало тихо.

Полежав немного, дядя приподнимается, весь оборванный, лохматый, берет булыжник и мечет его в ворота; раздается гулкий удар, точно по дну бочки. Из кабака лезут темные люди, орут, храпят, размахивают руками; из окон домов высовываются человечьи головы, — улица оживает, смеется, кричит. Всё это тоже как сказка, любопытная, но неприятная, пугающая.

И вдруг всё сотрется, все замолчат, исчезнут.

...У порога, на сундуке, сидит бабушка, согнувшись, не двигаясь, не дыша; я стою пред ней и глажу ее теплые, мягкие, мокрые щеки, но она, видимо, не чувствует этого и бормочет угрюмо:

— Господи, али не хватило у тебя разума доброго на меня, на детей моих? Господи, помилуй...

Мне кажется, что в доме на Полевой улице дед жил не более года — от весны до весны, но и за это время дом приобрел шумную славу; почти каждое воскресенье к нашим воротам сбегались мальчишки, радостно оповещая улицу:

— У Кашириных опять дерутся!

Обыкновенно дядя Михайло являлся вечером и всю ночь держал дом в осаде, жителей его в трепете; иногда с ним приходило двое-трое помощников, отбойных кунавинских мещан; они забирались из оврага в сад и хлопотали там во всю ширь пьяной фантазии, выдергивая кусты малины и смородины; однажды они разнесли баню, переломав в ней всё, что можно было сломать: полок, скамьи, котлы для воды, а печь разметали, выломали несколько половиц, сорвали дверь, раму.

Дед, темный и немой, стоял у окна, вслушиваясь в работу людей, разорявших его добро; бабушка бегала где-то по двору, невидимая в темноте, и умоляюще взывала:

— Миша, что ты делаешь, Миша!

Из сада в ответ ей летела идиотски гнусная русская ругань, смысл которой, должно быть, недоступен разуму и чувству скотов, изрыгающих ее.

За бабушкой не угнаться в эти часы, а без нее страшно; я спускаюсь в комнату деда, но он хрипит встречу мне:

— Вон, ан-нафема!

Я бегу на чердак и оттуда через слуховое окно смотрю во тьму сада и двора, стараясь не упускать из глаз бабушку, боюсь, что ее убьют, и кричу, зову. Она не идет, а пьяный дядя, услыхав мой голос, дико и грязно ругает мать мою.

Однажды в такой вечер дед был нездоров, лежал в постели и, перекатывая по подушке обвязанную полотенцем голову, крикливо жалобился:

— Вот оно, чего ради жили, грешили, добро копили! Кабы не стыд, не срам, позвать бы полицию, а завтра к губернатору... Срамно! Какие же это родители полицией детей своих травят? Ну, значит, лежи, старик.

Он вдруг спустил ноги с кровати, шатаясь пошел к окну, бабушка подхватила его под руки:

— Куда ты, куда?

— Зажги огонь! — задыхаясь, шумно всасывая воздух, приказал он.

А когда бабушка зажгла свечу, он взял подсвечник в руки и, держа его пред собою, как солдат ружье, закричал в окно насмешливо и громко:

— Эй, Мишка, вор ночной, бешеный пес шелудивый!

Тотчас же вдребезги разлетелось верхнее стекло окна и на стол около бабушки упала половинка кирпича.

— Не попал! — завыл дед и засмеялся или заплакал.

Бабушка схватила его на руки, точно меня, и понесла на постель, приговаривая испуганно:

— Что ты, что ты, Христос с тобою! Ведь эдак-то — Сибирь ему; ведь разве он поймет, в ярости, что Сибирь!..

Дед дрыгал ногами и рыдал сухо, хрипуче:

— Пускай убьет...

За окном рычало, топало, царапало стену. Я взял кирпич со стола, побежал к окну; бабушка успела схватить меня и, швырнув в угол, зашипела:

— Ах ты, окаянный...

В другой раз дядя, вооруженный толстым колом, ломился со двора в сени дома, стоя на ступенях черного крыльца и разбивая дверь, а за дверью его ждали дедушка, с палкой в руках, двое постояльцев, с каким-то дрекольем, и жена кабатчика, высокая женщина, со скалкой; сзади их топталась бабушка, умоляя:

— Пустите вы меня к нему! Дайте слово сказать...

Дед стоял, выставив ногу вперед, как мужик с рогатиной на картине «Медвежья охота»; когда бабушка подбегала к нему, он молча толкал ее локтем и ногою. Все четверо стояли, страшно приготовившись; над ними на стене горел фонарь, нехорошо, судорожно освещая их головы; я смотрел на всё это с лестницы чердака, и мне хотелось увести бабушку вверх. Дядя ломал дверь усердно и успешно, она ходуном ходила, готовая соскочить с верхней петли, — нижняя была уже отбита и противно звякала. Дед говорил соратникам своим тоже каким-то звякающим голосом:

— По рукам бейте, по ногам, пожалуйста, а по башке не надо...

Рядом с дверью в стене было маленькое окошко — только голову просунуть; дядя уже вышиб стекло из него, и оно, утыканное осколками, чернело, точно выбитый глаз.

Бабушка бросилась к нему, высунула руку на двор и, махая ею, закричала:

— Миша, Христа ради уйди! Изувечат тебя, уйди!

Он ударил ее колом по руке; было видно, как, скользнув мимо окна, на руку ей упало что-то широкое, а вслед за этим и сама бабушка осела, опрокинулась на спину, успев еще крикнуть:

— Миш-ша, беги...

— А, мать? — страшно взвыл дед.

Дверь распахнулась, в черную дыру ее вскочил дядя и тотчас, как грязь лопатой, был сброшен с крыльца.

Кабатчица отвела бабушку в комнату деда; скоро и он явился туда, угрюмо подошел к бабушке.

— Кость цела?

— Ох, переломилась, видно, — сказала бабушка, не открывая глаз. — А с ним что сделали, с ним?

— Уймись! — строго крикнул дед. — Зверь, что ли, я? Связали, в сарае лежит. Водой окатил я его... Ну, зол! В кого бы это?

Бабушка застонала.

— За костоправкой я послал, — ты потерпи! — сказал дед, присаживаясь к ней на постель. — Изведут нас с тобою, мать; раньше сроку изведут!

— Отдай ты им всё...

— А Варвара?

Они говорили долго: бабушка — тихо и жалобно, он — крикливо, сердито.

Потом пришла маленькая старушка, горбатая, с огромным ртом до ушей; нижняя челюсть у нее тряслась, рот был открыт, как у рыбы, и в него через верхнюю губу заглядывал острый нос. Глаз ее было не видно; она едва двигала ногами, шаркая по полу клюкою, неся в руке какой-то гремящий узелок.

Мне показалось, что это пришла бабушкина смерть; я подскочил к ней и заорал во всю силу:

— Пошла вон!

Дед неосторожно схватил меня и весьма нелюбезно отнес на чердак...

Revision #1
Created 17 August 2021 05:57:35 by Admin
Updated 17 August 2021 06:00:13 by Admin